

КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСЕЙ КОРОЛЕВ. Экслибрис. Стихи. М. «Советский писатель». 1988. 144 стр.

Стихи Алексея Королева не каждому, наверное, придутся по вкусу. В них слишком мало внятного рассказа, выводов, положительных идей. С чего бы автор ни начинал, все неизбежно сводится к тому же монологу, к бесконечной тяжбе с самим собой.

В сущности, это тип современного гамлетизма. «Подгнило что-то в Датском государстве» — такова теза. И развитие ее: «Что благородней духом — покоряться... Иль, ополчась на море смут, сразить их?» Современный Гамлет (точнее, Гамлет 70—80-х) не выбирает ни то, ни другое: не покоряться и уж, конечно, не ополчаться. Это — Гамлет, но без шпаги. Это — поэт сомнения, рефлексии и того смирения (больше самоуничтожения!), что паче гордости. Докзательства — на любой странице.

И сколько книжек ни поставь на полку — от них уже ни радости, ни толку, одно томление да маета...
И смахивает стих на барахолку,
где силу духа сбыли втихомолку,
а прочее не стоит ни черта.

О стихе, смахивающем на барахолку, сказано не случайно. Действительно, язык Королева — сплав всех мыслимых высоких и низких стилей от современного жаргона до славянизмов и золотого далевского пласта речений и поговорок. С явным преобладанием в синтаксисе высокого стиля (инверсии и т. п.), а в лексике — народного и книжного «крылатого слова», но — сдвинутого, смещенного по смыслу, а то и вывернутого наизнанку.

Какие ни баяли бы рубаи,
на то мы и стреляные воробьи,
чтоб нас провели на мякине
лирические героини.

Это простейший пример. Вот чуть посложнее, повитиеватей:

Радости втихаря,
загодя скорби
наши до фонаря
urbi et orbi.

Что замечательного взял Королев у народной поговорки (кроме смыслового глубинного эха), так это удивительную сложность, когда звуки непременно ауканются, поддерживают друг друга, образуя затейливую вязь. Роль этого ауканья такова, что в пору вспомнить древнескандинавский аллитерационный стих. «Эка околесица — в пору ей в пояс, но опростоволоситься все-таки боязно... Поросла осокою юности старца. На звезду высокую некому зариться. Пота-

каю облаку, под его пологом все, что добыл,— побоку, а волок волоком» («Угрызения совести»).

Подвижность и трансформированность поэтического слова (и впрямь подобно облаку) в сочетании с жесткостью заданной формы характерны для Королева. Среди его стихов, в частности, много сонетов — простых и обратных, сонетные циклы и немало весьма оригинальных (скажем осторожнее: нешаблонных) строф с многократной рифмой и разностопной строкой.

(Жаль только, что такого рода стихи, построенные на реализации идиом, на игре оттенками слов, видимо, принципиально непереводимы на другие языки. Разве что дать переводчику вместо текста канву для импровизации, как это делалось в старинном итальянском театре масок, нечто вроде: «Выходит Труфальдино и презабавно жалуется на судьбу».)

Этот приоритет формы («Самое трудное — выбор размера, все остальное возьмется само»), конечно, не случаен. Ибо окаянное ремесло — способ сопротивления залгавшемуся времени. Тот последний плацдарм, за которым конец, окончательное обесмысливание мира.

Отсюда ожесточенность и горечь, проникающие всюду. Даже «прекрасные дамы» и соответственно любовная лирика здесь та же печка, от которой танцуются замысловатый танец одиночества. Как и положено по классическому гамлетовскому канону:

От души они нас жалели
и успехов больших желали,
но не петрили в нашем деле,
ни бельмеса не понимали.

Кажется, вырисовывается образ весьма замкнутого, эгоцентрического поэта. Но это не совсем так. В такую пору, когда паяцы выступают в роли оракулов, уход в герметичность, в бормотание, в тотальную иронию — позиция понятная.

Существует гипотеза, согласно которой в шекспировском театре роль Корделии и роль шута исполнял один и тот же юноша-артист. Нет ни одного эпизода, где участвовали бы оба эти персонажа. Лир изгоняет Корделию, и тогда рядом с ним появляется верный и насмешливый дурак. В четвертом акте на сцену возвращается Корделия, но исчезает шут: до самого конца трагедии мы уже не увидим бедного Тома.

То есть у любви и стойкости два обличья.

В мире, где «житейские скачки находят» в кровном родстве с готовностью стать на карачки», где даже «у моря за душой взбалмошной и бешеной много общего с лапшой,

на уши навешанной», существует все-таки неистребимая гармония, которая только ждет творческого жеста, чтобы открыться, предстать перед глазами:

И, невзирая на блезир,
не жди подвоха,
странноприимен этот мир,
и темперирован клавир
не так уж плохо.

Старый парадокс заключается в том, что когда поэт внушает сам себе: мол, пиши пропало, — удивительным образом что-то прибавляется, а не пропадает. Видно, у поэзии всегда достаточно внутренних степеней свободы, чтобы оставаться собой. Да и ямбы с дактилями еще на что-то сгодятся.

Г. Кружков.



ТИМУР ГАЙДАР. Голиков Аркадий из Арзамаса. Документы, воспоминания, размышления. М. Политиздат. 1988. 318 стр.

Голиков—это Гайдар, ставший героем уже нескольких выпущенных книг, и вот — еще одна, особенная, написанная сыном. Книга содержит прекрасные страницы, воскрешающие историю создания «страны Гайдара»: привлекательного, жизнестойкого литературного мира, с которым более полувека не расстанутся читатели. Но, как ни странно, при всех своих достоинствах книга Тимура Гайдара не является принципиальным шагом вперед в познании этого мира и, пожалуй, оказывается даже некоторым отступлением по сравнению с другими работами.

Из прежних исследований мы знаем факты, в данном своде документов и воспоминаний просто отсутствующие, — факты, бывшие едва ли не центральными, по крайней мере в психологическом отношении, для формирования гайдаровской личности. Прежде всего это расстрел большой группы пленных, произведенный в годы гражданской войны по приказу Аркадия Голикова, будущего Гайдара. Мы не чувствуем себя вправе и даже не заинтересованы обсуждать здесь необходимость и оправданность подобных действий. Это дело военных историков. Но для понимания писательской психики, отразившейся в книгах, которые мы читаем и любим, знать о таких фактах необходимо. Ведь за подобные действия воевавший чуть ли не с детских лет Аркадий Голиков дважды исключался из комсомола, был исключен из партии и не восстановлен; едва не лишившись всех званий и наград, он закончил кадровую армейскую службу неизлечимым инвалидом на нервной почве. Причем помимо медицинской помощи Гайдар время от времени прибегал к такому «самолечению», которое могло служить разве что средством медленного самоубийства. А из его переписки с друзьями, опубликованной пока, к сожалению, только за рубежом, стало известно, в каком состоянии душевного дискомфорта существовал этот человек, запомнившийся сыну как «сильный, добрый, улыбочивый, справедливый, смелый».

Показания сына мы не только не ставим

под сомнение, но считаем их исключительно ценными, однако сложной задачи они не разрешают, а лишь усложняют ее. Скажем, забота, тень которой сын подчас замечал на светлом челе своего отца, была, надо полагать, не мимолетным воспоминанием о «молодости и своих на войне промахах», а неутихающей, неотступной внутренней болью, которую Аркадий Гайдар старался заглушить всеми средствами. Иначе говоря, не гармония, а глубочайшая дисгармония служила двигательной силой в создании гайдаровского мира, где действуют замечательные мальчишки и девчонки.

Мое мнение о Гайдаре таково: это наш Стивенсон, и ему суждена та же судьба, что выпала на долю знаменитого писателя-романтика, которого Гайдар, конечно, читал не бесследно для себя. Такие писатели со временем «взрослеют»: в их книгах, созданных вроде бы исключительно для детей, открывается недетское содержание. С Гайдаром в будущем произойдет, я думаю, то же самое. Когда отшумят наши страсти, лопнут дутые литературные величины, Гайдар как талант, наш советский Стивенсон, будет по-прежнему жить, но если полвека его читают как детского писателя, то лет через сто за него возьмутся и взрослые. И вот тогда будут особенно нужны полные свидетельства из первоисточника: что же это была за личность?

Тимуру Гайдару после краткого варианта воспоминаний об отце («Новый мир», 1986, № 7), переросших в эту книгу, следует, вероятно, подумать о втором ее издании с учетом новых, недавно появившихся данных об Аркадии Гайдаре.

Д. Урнов.



М. М. САФОНОВ. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. А. «Наука». 1988. 248 стр.

В последнее время в советской исторической науке наметился определенный поворот в сторону более глубокого осмысления сущности того, что традиционно определялось как «кризис мысли». Речь идет о пересмотре ценностей общественного прогресса, на которых основывалось Просвещение и которые самым безжалостным образом были попораны в эпоху «ужаса» (terreur) Великой французской революции. Появление монографии М. М. Сафонова является еще одним шагом к объективному и целостному изучению воздействия этой революции на русское общество.

По мнению автора, влияние французских событий на Россию отразилось в деятельности правящих верхов, осознавших необходимость перемен.

Система дворянских привилегий, получившая свое окончательное оформление в последней четверти XVIII века, явилась завершением поисков со времени смерти Петра I средств к стабилизации внутривнутриполитической обстановки. Найденный выход — опора на господствующий класс путем максимального расширения его привилегий —